

Городок наш ничего...

Генрих Иоффе

Решив напечатать отрывок из моих воспоминаний, редакция попросила меня предварить его коротким рассказом о себе.

Но коротко – это сложно. Жизнь моя оказалась длинной.

Вот вижу раннее детство, первая половина 1930-х годов. Стою с отцом на Красной площади, а над Кремлём с криком вьются стаи воронья. И мне кажется, что с этим криком нас уносит в далёкую, далёкую старину.

А в одну из жестоких зим тех же 1930-х я видел на Ильинке красноармейцев, как мне казалось, ещё в форме Гражданской войны, в длинных шинелях, с винтовками и примкнутыми к ним штыками. Гордость охватывала меня, когда я смотрел на суровые лица этих бойцов.

Я был в Москве, когда немецкие войска подошли к самому городу, и слышал диктора Левитана, читавшего приказ Сталина о том, что «сим приказом» Москва объявляется на осадном положении. Как ни странно, но это старо-славянское коротенькое слово «сим» укрепляло нашу веру и ненависть.

Через три года, будучи на Самотёке, я стал свидетелем угрюмого прохождения многотысячной колонны немецких пленных по жарким улицам Москвы.

Война остановилась на нас, мальчишках 1928 года рождения. В 10-м классе, единственном на весь огромный район, нас было всего 14 человек. Мы получили свои аттестаты зрелости в день Парада Победы.

Меня приняли в Педагогический институт, и я окончил его исторический факультет в 1950 г. с красным дипломом. В те времена выпускников вузов распределяли по разным городам и весям всего Советского Союза. Я был направлен в распоряжение Костромского облоно, а оттуда в педучилище районного городка Кологрив. В Москву вернулся в 1953 г., когда наше педучилище закрыли. Это было далеко не лучшее время для подыскания новой постоянной работы: преподавал в школе рабочей молодёжи, трудился на разных участках Библиотеки им. Ленина, работал в издательстве «Наука», а потом (к счастью) почти 30 лет в Институте российской истории РАН.

Последней по времени (и наиболее болезненной) переменой в жизни стала перестройка и её последствия. Судьба привела меня и мою семью в Канаду, хотя никогда я не порывал связи со своим родным институтом. В России в эти годы всё переделывалось, перестраивалось, переписывалось. Тогда-то у меня и возникло желание самому попробовать рассказать о нашем уходящем поколении. Поколении, у которого были ошибки, промахи, было просто немало дури. Но как сказал поэт, «Мы за всё заплатили сами, // Нас не может задеть хула, // Кто посмеет в нас бросить камень, // В наши помыслы и дела?».

Когда в 1950 г. я попал по распределению в Кологрив учителем истории и Конституции, городок этот отстоял от железнодорожной станции километров на девяносто. В хорошую погоду до него можно было добраться на дряхлом автобусе с привязанным к заднему бамперу помятым и проржавевшим ведром. А зимой, в снежные заносы – только на лошадке, на санях. Если ночью едешь лесом, бывало, и волчий вой слышался. Поздней осенью до городка тоже нелегко добраться: дожди превращали просёлочную дорогу в непролазную грязь. Полуторки буксовали.

В Москве, Ленинграде и других больших городах в конце 1940-х – начале 1950-х гг. шли идеологические бои и баталии, хлестали то литераторов, то биологов, то космополитов, то врачей – «убийц в белых халатах». Смутно помню, как схватились два классика – Шолохов и Симонов – по поводу псевдонимов. Шолохов намекал – знаем, мол, кто под этими псевдонимами и зачем скрывается, а Симонов отстаивал право на псевдонимы. Но до нашего Кологрива вся эта идеологическая рубка почти не доходила, здесь тихо было.

Въезд в Кологрив – по тем временам, естественно, через улицу Советскую. Она, пожалуй, была широковата для такого маленького и заброшенного городка, как этот. Застроенная в основном одноэтажными деревянными домами, Советская улица сбегала вниз по длинному отлогому холму. У его подножья она, вроде реки, растекалась, образуя довольно большую площадь, которая тоже по обычаю тех времён почти во всех городах и городках называлась Ленинской. Это центр нашего города.

Самое оживлённое место здесь – возле старого двухэтажного здания. У входа в него вывеска – «Столовая». Тут всегда на траве или на снегу (если, конечно, зимой) разбросаны охапки соломы, сена, кое-где – кучки конского навоза. Толкуются люди, стоят запряжённые в телеги или сани лошади. Жужа сено, они вздёргивают головами, отчего сбруя издаёт какой-то специфический сыромятно-ременный, тёплый, деревенский звук... Иногда подъезжают грузовики, но так как их было мало, они не меняли сельской картинки округи здания столовой.

Городской же дух царил поблизости, на другой стороне улицы. Здесь располагался «торговый центр». Его составляли два двухэтажных магазина, продуктовых и промтоварных одновременно. В одном правила тётя Августа, в другом – тётя Клава. Обе в передниках не первой белизны. Весы у них – старинные, с двумя металлическими «чашками» и чугунными гирями от 30 кг до 200 гр.

В магазинах по определённым дням можно купить чёрный хлеб, какую-нибудь крупу. Всегда в ассортименте – бутылки дешёвой водки, запечатанные коричневым сургучом, консервы – «кильки в томате», конфеты – «подушечки». Из промтоваров можно было приобрести брезентовые плащи, резиновые и кирзовые сапоги, стиральные корыта, керосиновые лампы, лопаты и многие другие нужные в хозяйстве вещи.

Позади магазинов – поликлиника – одноэтажный дом внешне барачного типа. Но внутри всё прибрано и чисто. Жители городка (а их и пяти тысяч не будет) вообще чистюли. Моют и трут свои жилища аж до полного блеска. Женщины подоткнут юбки, согнуты, чуть ли не пополам, попа вверх, голова вниз и драят, драят свои полы какими-то специальными скребницами.

За магазинами и поликлиникой – берег реки. Река наша Унжа – сплавная, несудоходная. Всю зиму в леспромхозах валят лес. Потом тракторами тянут брёвна к берегу Унжи, а весной, когда в половодье она разливается, подхватывает их и несёт вниз, к запани. Запань – широкая запруда из тех же брёвен. А на берегу – старинные складские помещения. Хотя на некоторых из них всё ещё и висят заржавевшие замки.

Склады эти уже давно не используются, они пусты, покосились, потрескались. За многие годы от солнца, ветра и снега брёвна и доски их утратили всякую окраску, и складские стены стали совершенно бесцветными, бело-серыми. Рассказывают, что когда-то хозяином складов был лесопромышленник Василий Цветков, которому принадлежал и побочный – «гастрономический» бизнес. Местные бабы собирали разные грибы и ягоды, которых в этих местах – тьма. Потом производился отбор самых лучших, их особым способом закладывали в специальные бочонки и отсылали в Петербург и Москву на продажу. Говорили, что Цветков поставлял свою изысканную продукцию даже к царскому столу. В революцию дело его, по слухам, раскурочили, а сам он с семьёй исчез где-то в нездешних дальних местах.

От заброшенных складов тянется дорожка с установленными на ней скамейками. Это, можно сказать, прогулочная городская набережная. Ведёт она к единственному в городке кинотеатру. Работает он исправно – три раза в неделю, хотя электричества в городе нет. То есть электропроводка существует, но в дома свет подаётся только по революционным праздникам. Однако кино имеет собственный движок.

За кинотеатром прибрежная сторона площади кончается. Она сужается и превращается в улицу Кирова, идущую вверх. С площади хорошо видно то, что когда-то там наверху было большой церковью. Её уже давно превратили в МТС, загрозили, захламили. Вокруг трактора и другие сельхозмашины – заброшенные или стоящие на ремонте. Пожалуй, это самое грязное место в городе.

Здесь улицу Кирова пересекает улица Трефилова, названная так в память местного уроженца, представителя «красы и гордости русской революции» – кронштадтского матроса-большевика 1917 г.

На Кировской в двухэтажном кирпичном здании размещается краеведческий музей. До революции здание строилось как вокзал. Некий купец Михаил Громов вознамерился подвести к городку железнодорожную ветку, но что-то помешало. После революции здание превратили в музей. Очень интересный, но всегда малолюдный. И директор музея – Камайский Пётр Сергеевич – тоже интересный, но не слишком общительный человек. Пожилой, внешне похожий на кинопортреты Суворова – тихий и вежливый. В I Мировую войну он был поручиком, а в 1918 г. участвовал, говорят, в ярославском антибольшевистском восстании Бориса Савинкова и полковника Перхурова. Думаю, что об этом знали те, кому знать надлежало, но Камайского почему-то не тронули. Может, не нашли в захолустье, куда он, видимо, скрылся? А потом уж сколько лет минуло?

За музеем – короткий тупичок, спускающийся к глубокому оврагу. Здесь очень красиво осенью. Уже опадает лист, но кроны старых деревьев ещё густы, они соприкасаются друг с другом, и ты идёшь словно по крытой аллее. В этом тупичке – Дом культуры с большой хорошей библиотекой. В отличие от музея в ней всегда люди. Жители нашего городка – большие книгочеи. Кроме того, при

Доме культуры – хор, в который чуть ли не в обязательном порядке записывали молодых преподавателей двух городских школ и нашего педучилища. И вот по праздникам мы стоим на сцене и поём. Одну песню – длинную, тягучую – хорошо помню. Она начиналась словами: «Я вам скажу, подружки дорогие, // Как хорошо нам жить в родном краю».

Было смешно, глупо: хористы – мужики, а поют, как какие-то подружки. ...Пели мы своими хриплыми голосами и другую, сугубо мужскую песню: «Артиллеристы, Сталин дал приказ! // Артиллеристы, зовёт отчизна нас!».

Боевая песня, военных лет, а они вот тут, совсем ещё близки. Мы ещё живём войной.

Не петь мы не могли: руководительница хора из Дома культуры напрямую жаловалась руководству училища. Его руководство состояло из двух человек: директора и завуча. Директор – Репин Александр Александрович – худенький, маленький, бывший фронтовик, человек умный и проницательный, требовал строгого порядка во всём.

– Расхлябанность, – говорил он часто, – вот наша беда, вот наша возможная гибель. А нашей стране никогда никто не поможет, нас никто и никогда не пожалеет, спуску не дадут. Это надо понимать. А мы и сами в дурь много лезем. Вот и с песнями этими вашими тоже...

Завуча звали Николай Сергеевич Кудрявцев. Он тоже воевал, ходил в военной форме: донашивал её. Левый рукав его кителя был заправлен под ремень: на фронте Кудрявцев лишился руки. Но с какой-то невероятной лёгкостью и быстротой он сворачивал цыгарки, почти непрерывно куря. Заметив как-то моё удивление и даже восхищение этим его искусством, он усмехнулся и сказал:

– Помучишься – научишься. Хорошая поговорка. Возьми на вооружение. Посмеиваясь на жалобы нашей хоровички, он говорил:

– Петь не хотите? Как это так? Нам песня строить и жить помогает! Петь, петь! Во весь голос! Партия велит!

Был, правда, среди «певцов» один «протестант» – преподаватель математики Александр Ливерьевич Ливерьев. Человек в изжёванном штатском костюме цвета хаки, несвежей белой рубашке и засаленном чёрном галстуке. И всегда в лёгком подпитии.

– Я уважаю партию, – говорил он, – но в уставе нет пункта о том, что коммунист обязан петь. И я не буду! Пропадай моя телега, все четыре колеса!

Странновато, но признаков присутствия органов власти в нашем районном городке было мало. Даже по праздникам – мало красных флагов, не проводилось и никаких митингов. Вообще политика не очень-то волновала и беспокоила обитателей городка. Жизнь делилась надвое: «до войны» и «после войны». Но никто не ждал, что теперь, после войны, она станет намного лучше. Уже родился народный лозунг: «Лишь бы не было войны».

Секретарь райкома партии Павел Иванович Груздев, наверное, больше всего был озабочен не городком, а районом: сёлами и деревнями. После войны многие из них находились в такой мерзости запустения, что иной раз без слёз нельзя было и смотреть. Раз осенью пошли с ребятами картошку собирать. Повёл Камайский, он всю округу знал. До деревни Красавица километров семь. Дождь два дня не переставал. Грязь еле пролазная. Дошли всё-таки. Завернули в первый же дом. Одна бабка на печи.

– Ты бы, старая, – говорит Камайский, – слезла, самовар вздула, ребята насквозь промокли. Картошка-то у тебя хоть есть?

– Нет, батюшка, ни картови, ни хлебушка.

Два дня ждали мы прекращения дождя. Лил и лил проклятый. Так мы и ушли в грязь и дождь.

Один хорошо знакомый агроном, «выпимши», как-то сказал мне:

– Знаешь, ничего из этого нечерноземья уже не выжать. Бросить его к едрёне фене и уйти. А то как у Салтыкова-Щедрина получается: хотим превратить убыточное хозяйство в прибыльное, ничего в оном не меняя.

– Да на что менять-то и как? Всё ведь может полететь кувырком...

– Ничего не полетит, если с умом...

Но что могло поделывать местное руководство? Наш Павел Иванович Груздев, тоже участник войны, был человеком спокойным, обходительным. Появлялся он на людях редко.

Дочь его, Елена Павловна, работала в нашем же педучилище преподавателем географии, держала себя скромно. За ней ухаживал училищный баянист Роберт Степанович, правда, безуспешно. Это часто приводило его в минорное состояние, он выпивал, доставал баян и затягивал грустные блатные песни. «На глаза надвинутая кепка, // Рельсов убегающий пунктир. // Нам попутчиком на этой дальней ветке // Будет только хмурый конвоир».

Он хорошо играл и пел, этот Степаныч, и от его песен тоскливая боль заброшенных, пустынных российских мест проникала в душу. Но как-то случайно директор Репин застал его за исполнением этого блатного шлягера. Наказание было самое крутое: нашего Степаныча выгнали, вспомнив и прочие его грехи.

Елена Павловна предпочитала преподавателя психологии, приехавшего из Ленинграда – Феликса Владимировича, хотя приятного в нём, на мой взгляд, было мало. Надменный, насмешливый. Приехал он с матерью – женой какого-то крупного работника, репрессированного ещё в 1937 г. Дама была с претензиями. Как, впрочем, и сын. Вначале я пригласил их жить к себе, но потом они отделились и жили довольно замкнуто.

Другая, набережная сторона площади начиналась домом, в котором находился народный суд. Дальше шли обычные жилые строения, и только в крайнем из них, почти рядом со столовой, находился райпотребсоюз.

А в центре площади – скверик с типовой фигурой Ленина (рука вождя, указующая вперёд). Было немного смешно: вождь как бы приглашал двигаться по направлению ко всё той же столовой. Этим «ленинским путём» мы частенько хаживали с моим другом по педучилищу Борисом Бочиным.

Вскоре после приезда на работу в училище я по какому-то поводу зашёл к нему. За столом сидело несколько человек, в том числе три наших молодых преподавательницы. Вот кому, наверное, было скучно и грустно в городке – это уж точно им. Не только женихов, но и ухажёров надёжных в городке было мало: война унесла. И сидели они, бедные, и резались с мужиками в картишки.

Бочин радостно приветствовал меня:

– Садись с нами, мы тут играем в очко.

– Да я не умею.

– Не умеешь? Это зря. Учись. В тюрьме пригодится.

Бочин был потомственным жителем городка. Тут, а также и в окрестных сёлах его знали все. Он родился в 1916 г., и в армию его призвали ещё до войны. Зачислили в конвойные войска. Перевозили они арестантов, уголовных и политических – в стране как раз шёл Большой террор.

– Чего я нагляделся-насмотрелся, – рассказывал он мне, – об этом лучше не говорить... Что многие конвойные творили, что уголовные проделывали с политическими – одна жуть. Уголовные, бывало, даже страшнее конвойных.

– А ты? – как-то спросил я.

– Нет, меня Бог миловал. Я всё время в наружной охране был. Нет, Бог отвёл.

Не знаю, правду он говорил или нет. Нрав он имел странный: то тихий и даже деликатный, то крутой и свирепый. Был у него друг – не разлей вода по странному прозвищу «отец Кирипий». Потом что-то случилось между ними, и Бочин своими пудовыми кулаками чуть не отправил хилого приятеля на тот свет. Но самое интересное – очень скоро они помирились!

В Отечественную войну Бочин воевал в пехоте, дважды был ранен, имел боевые награды, но не надевал их. На лацкане пиджака у него были лишь две полоски: красная и жёлтая. Тогда такие полоски ещё носили: красная означала тяжёлое ранение, жёлтая – более лёгкое.

– Мужик войну выиграл, – говорил он мне, – мужик. Буди не мужик... Вот послушай такое дело. В 1944 г., уж совсем поздней осенью форсировали мы реку. Снег шёл, вода холодющая, пронизывающий ветер. Мы по плечи в воде стояли – всё больше деревенские мужики – на руках держали сколоченную из брёвен переправу: по ней войска и лёгкую технику перебрасывали на другой берег. Таких «мостов» три было. Командир корпуса лично руководил, подгонял: быстрее, быстрее, братцы! Ранен он был в ногу, стоял, опершись на палку. Какая-то часть затыркалась, он крикнул офицера и палкой прямо по лицу его хлестанул! Сам видел. Так-то, брат... И в миг разобрались! Пошли. Считай, в лёд, а что делать...

Мы с Бочиным нередко бродили по улицам Кологрива. Обычно он для начала затаскивал меня в столовую. Её заведующая тётя Паня впускала нас в «боковушку». Это была особая комната для местных и приезжих – VIP-начальства и т.п. Простой народ выпивал и кормился в общем помещении. Ещё одно отличие «боковушки» – меню, лист из школьной тетрадки, на котором подслюнявленным карандашом перечислялись имеющиеся блюда. В общем «зале» меню не было. А меню в «боковушке» иногда вызывало улыбку. Как-то раз в нём предлагался посетителям «суп-пинзон». Совместными усилиями выяснили, что имелся в виду «суп-пейзан», т.е. суп по-крестьянски. Чтобы не обидеть тётю Паню, ничего ей не сказали, исправили сами.

Тётя Паня была добрая и работающая женщина. Как и большинство других женщин нашего городка. Вот, например, моя хозяйка, у которой я «стоял на квартире» – Августа Михайловна. Никогда она не жаловалась на жизнь, на судьбу. Муж её умер, дети (сын и дочь) разъехались, мать не навещали. Сын где-то не столько работал, сколько пил. И жила она, уже немолодая, одна. Держала корову, поросёнка, кур, был у неё и небольшой огород. Никаких денег за дары со своего огорода она не брала, если ей предлагали, махала руками:

– Будет вам! Какие ещё деньги! Кушайте на здоровье.

Вообще о деньгах в городке как-то редко говорилось. Наверное, бедные люди – добрее и бескорыстнее, а богатых в городке не имелось.

Мы частенько сиживали в «боковушке», толковали, выпивали каждый свою дозу (Бочин кружку водки или разбавленного спирта) и обычно шли на площадь, в скверик.

Как-то раз я предложил пойти в кино. В этот день показывали трофейный немецкий фильм «Жизнь Рембрандта». Я видел этот фильм ещё в конце войны, он произвёл на меня тогда сильнейшее впечатление. Бочин согласился пойти, посмотреть. По пути я стал рассказывать ему то, что помнил из фильма.

– Рембрандт был величайший художник. Он умел передать тончайшие человеческие чувства и переживания. Он был богат и прославлен. Но потом судьба отвернулась от него. Умерла любимая жена Саския, затем сын и другие близкие. Рембрандт стал бедным, фактически полунищим. Многие его картины свалили на чердак большого дома, который когда-то принадлежал ему. И вот однажды, старый и больной, он пошёл...

– Обожди, – прервал мой рассказ Бочин, тронув за рукав. – Вон двое моих знакомцев из суда выходят. Узнаем, в чём дело. «Смирнов! Лёха!» – крикнул он.

Два небольшого роста мужичка в телогрейках, сапогах и замызганных офицерских фуражках со сломанными козырьками остановились и направились к нам.

– Вы чего по судам бродите в рабочее-то время? – спросил их Бочин, когда они подошли.

– Суд нам был, – сказал тот, которого Бочин назвал Лёхой.

– Да ты что? За что же вас, сирых? Кровянку кому пустили? Непохоже на вас.

– Да не. Брёвна вон по весне со сплава потаскали завмагу Хромову в Краснухе. Он новый дом ставить задумал, нас и подговорил за три бутылки.

– Много упёрли-то?

– Да не... Мент с 3-го лесхоза нас накрыл. Хромов ему наши бутылки отдал, а тот ему брёвна-то и оставил. А нам теперича чалиться.

– Сколько ж вам припаяли, грешники?

– По пятаку, вишь как.

Бочин присвистнул, я же на минуту просто оцепенел. И не столько непомерный срок наказания, сколько спокойствие, казалось, даже равнодушие, с которым эти мужички говорили о том, что их ожидает, поразило меня. Как будто они просто переходили на другую работу.

– А чего вас отпустили?

– До вечера, – ответил Лёха. – Куды мы денемся? Сейчас домой зайдём, кой-чего из одежки возьмём, харчей, махорки тоже. Курить страсть охота, ан нечего. У вас часом нету?

Мы разом протянули им свои уже открытые пачки «Примы». Заскоружлыми пальцами они никак не могли сразу вытащить из пачек сигарету.

– Да берите все...

– Ну, дай Бог. Прощевайте, ребята. До встречи.

Они подтянули мешки на спинах и пошли. Я смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду...

– Ну, пошли в кино что ли, – сказал Бочин.

– Тяжело...

– Чего тяжело?

– Это ж надо с каким спокойствием и смирением мужики идут в ад...

– Так уж и в ад. Они как с фронта-то пришли, с тех пор в лесу и работали, на лесоповале. И в лагере наверняка их на лесоповал погонят. Выдюжат, народ битый, привычный. Ничего. Пошли.

...Шли последние кадры фильма. Рембрандт, нищий, немощный, шёл в свой бывший дом и просил привратника проводить его на чердак. Вот они бредут там в потёмках среди груд хлама, и Рембрандт свечой освещает путь. Рукавом старой рубахи он стирает пыль, густо покрывающую какую-то картину. Проглядывает лицо старика. Это автопортрет его – Рембрандта. Последний автопортрет. На усталом лице – спокойствие, смирение перед судьбой. Рембрандт поближе подносит свечу, всматривается и тихо-тихо смеётся старческим дребезжащим смехом.

– Чему смеёшься, старик? – спрашивает поражённый привратник.

– Я понял, – тихо отвечает Рембрандт.

– Что ты понял?

– Я всё понял, – говорит Рембрандт и задувает свечу. Темнота. Конец фильма.

Мы шли домой, а в голове моей мешались Рембрандт, колеблющийся огонёк свечи, которую он держал в руке, осуждённые мужики с мешками за плечами. Угрюмо молчал Бочин...

Прошло, кажется, полгода. Однажды ко мне в комнату, которую я снимал у тихого и доброго старика Алексея Алексеевича Жохова, просто ворвался уже подвыпивший Бочин.

– Слышал?! – крикнул он.

– А что?

– Мужичков тех двоих, с которыми мы осенью толковали, помнишь? Которым по пять лет тюрьги впаяли?

– Ну?

– Нету их больше. На пересылке поспорили они о чём-то с урками, а те финки припрятали. Погибли наши мужички, поминай теперь, как звали.

– Да что ты?

– Пошли в «боковушку», помянем. Хорошие были ребята. Фронт прошли и ничего, а тут видишь как оно бывает...

– Тётя Паня, когда мы пришли в столовую, объяснила нам, что «боковушка» занята: гуляют комсомольцы из райкома.

– Ничего, – сказал Кочин, – мы и в столовой. Нам только помянуть надо.

– Кого ж это?

– Лёху Репина и Пашку Смирнова. И ещё Рембрандта.

– А это кто ж такой?

– Тоже один хороший мужик был. Тяжёлую жизнь прожил.

– А лёгкая она разве бывает?

– Во, во, и он так думал. Царствие всем им небесное.

Тётя Паня перекрестилась.

Мы пошли к реке, сели в стоявшую на берегу чью-то лодку. Рядом смолил свою лодку директор музея Камайский. Я подошёл к нему. Разговорились, я рассказал о двух встретившихся нам мужичках, о фильме «Рембрандт».

– Какие страдания и муки пришлось пережить гениальному художнику, чтобы прийти к мысли о смирении перед судьбой, а вот простые мужики вроде бы и родились с этой мыслью...

– У наших мужичков, – сказал Камайский, – смирение, а может покорность, как у природы, как вон у этой реки. Да они сами как часть природы...

Он замолчал и снова принялся за свою лодку. Потом, подумав, сказал:

– Но смирение-то у них до времени. Ледоход на реке слышали, видали? Как пушки грохочет. Так-то и с этим смирением бывает. До времени. Нужны только особые – бунташные люди, заводилы.

– Пугачёв?

– Ну да, вроде него. Пугачёв, Разин, Махно. Много их.

Мне вдруг пришла мысль, что Камайский чем-то внешне похож на Рембрандта, и я сказал ему об этом. Он засмеялся:

– Значит мы все тут на него похожи: круглолицые, широконосые... Вон как у Бочина: в зеркале не помещается. Он засмеялся:

– И ни одного Рембрандта. Впрочем, есть тут в одной деревне художник... Интересный мужик! Рембрандт не Рембрандт, но талант. Приходите в музей, покажу его работы.

Лёгкий ветер гнал по хрустальной воде мелкую зыбь и доносил освежающий дух соснового бора, темневшего вдали на том берегу. На Кологрив начали опускаться сумерки.